

Прошлогодный снег

1

Решено было ехать на ночной новогодний бал в Павловск. Хотя времена ночных бафов и маскарадов в Павловске давно миновали, в сочетании этих слов оставалось много магнетизма. Поэтому все, кто стоял перед загибающейся снизу афишей, написанной одним из факультетских художников, были полны самых праздничных ожиданий.

Наступило худшее время в Ленинграде: ночи, казалось, установились над городом окончательно, и достаточно было выйти на улицу, залитую выпуклым светом фонарей, которые не изгоняли ночную темноту, а лишь создавали островки холодного света, тут же переходящего в сумрачную тень, чтобы сразу же получить веские доказательства своего одиночества.

Но когда будильник истерически подпрыгивает, чтобы сообщить свою ошеломляющую новость, и это не пожар, а всего лишь зыбкое утро, только проснись в окне, вы не чувствуете еще пока одиночества, а только хотите поскорей разогнать сонную слабость, обладающую такой могучей силой, что она не удержимо влечет поскорее присесть и задремать где придется, поливаете холодной водой сомкнутые ладони и отправляйтесь на кухню, чтобы получить холодную котлету к чаю и манную кашу с расплавленным куском масла — знаки женского внимания, газету, где можно прочитать о многом...

Не замечая друг друга, замкнувшись в своем стремлении добратья ввремя до теплого, людного и освещенного места работы, прохожие проскальзывают по заметенным набережным каналов и рек, по улицам окраин и новостроек, мимо Кузнечного рынка так же отрешенно, как мимо темных окон Зимнего дворца, и кажется, что каждый сосредоточенно несет в себе свою собственную, единственную ночь и не желает ни с кем ею делиться.

Если же даже и захочет он ею поделиться, не победит же он за проходящим каракулевым воротником, не станет на ходу

рассказывать о своих печалях, да и не выслушает его каракулевый воротник, он и сам открылся бы, да некому.

В переполненном автобусе вы теряете уверенность в ценности собственной персоны, сдавленной с трех сторон и занимающей, по сути дела, такое маленькое место в пространстве. После недавно еще прерванного сна вам кажется, что завершится это пасмурное утро падением автобуса с моста.

Не замеченные окружающими, в вас борются раздраженно и замкнутость.

Светает поздно и так же неощутимо, как темнеет.

По коридору медленно плыли облака дыма, в нем было неуютно от множества людей, озабоченных или рассеянных, спокойных, промелькнувших за день под его сводами, и казалось, что находится здесь просто так, без прямой необходимости, тягостно и почти бессмысленно. Но если вы понимаете толк в университетской жизни, то именно теперь-то здесь и останетесь и оцените ее истинный азарт.

* * *

Расставшись на несколько часов в ожидании вечернего веселья, к которому еще надо было приготовиться, они разошлись и разошлись в разные стороны.

От Невы несло такой темной стужей и нелюдимостью, что даже свет ослепительно холодных фонарей не мог превратить заполненный человеческими фигурами тротуар в обжитое пространство. Лишь на долю секунды прохожие встречались взглядами и, не найдя для себя в них ничего утешительного, только поворачивались к пурге вполборота и наклонялись навстречу ветру.

Завихренны хвостами метелей, мостовые были черными и скользкими. Не поддаваясь порывам ветра, продвигались по ним осторожные вдумчивые троллейбусы.

У гранитной набережной возле дощечки автобусной остановки, ничем не защищенной от снега и ветра, толпились темные фигуры, объединенные желанием втиснуться в щель между спинками и замереть, ожидая своей остановки.

Лишь на секунду Борис Окоемов допустил возможность такоо испытания и, хмуро замкнувшись в сознании того, что надо еще мерзнуть и шагать, мерзнуть и шагать не менее полчаса, двинулся в сторону Дворцового моста.

Пока ветер жег лицо и тени от фонарей накладывались одна на другую, множилось и дробилось, можно было подвести некоторые итоги и услышать от себя самого неутешительную правду.

Правда состояла в том, что жизнь шла томительно, болезненно, без чувства полноты и самодостаточности.

Он давно уже жил с мыслью, которая ждала его в изгоях, когда, казалось, находил на нее ответ, отчаивался и страдал, если не мог этого сделать. Мысль, вернее, вопрос состоял в том, почему разные люди по-разному чувствуют себя в жизни, почему одни, их он знал и тайно завидовал им, живут уверенно и наполненно, а другие этого не умеют или не могут, почему между чувствами двух разных людей существует такая разница, почему им счастья и радости опущено не поровну?

Но дело тут шло не о рассуждениях, дело тут шло о самой жизни. Потому что он никогда не сможет согласиться жить скучнее и безрадостней, чем некто рядом, это удивляло его, озадачивало, обижало, вызывало чувство зависти, конечно тщательно скрываемой. Но быть может, речь шла не о зависти и не о каких-то мифических счастливицах, а просто-напросто о собственной его душевной боли, от которой он не мог освободиться.

И как раз сейчас на этих скользких, тяжелых плитах гранита, окруженный колкими крутинками снега, вновь и вновь попадаая ногами в сугробы, он преодолевал свою удрученность, внутреннюю пустоту, стремился обрести спокойствие и силы. И, как всегда, утешение приносила мысль, что все радости, все счастье жизни еще впереди, и надо только разобратся, как их достигнуть.

Борис перетнулся через перила и заглянул прямо вниз, под опоры моста, где рядом с белой равниной льда, загромажденной торосами, рядом с извивающимися хвостами метелей чернела маслянистая полынья. Было жутко оттого, что ты словно бы виснешь над этой бездной и перила вот-вот не выдержат.

Набережные по обе стороны моста были почти не видны, только мерцал пунктир белесых фонарей, да окна Зимнего дворца желто и тепло светились. Легко было вообразить за ними музыку, кружева, улыбки. Светились несколько окон и в других домах вдоль набережной, но редко и тускло. Направо, вниз по течению, на краю горизонта, среди наклоненных вперед портковых кранов угасал малиново-тусклый, сплюснутый тучами декабрьский ваят.

Забывшись на мгновение, как забываешься только во сне, Окоемов пережил минуту острой радости, вспомнив что-то нежное и родное, и тогда же забыл его причину. Он испугался, что радость не вернется, и стал вспоминать, в чем было дело,

Вначале он вспомнил, что ему доставил радость смех слушателей в дымном коридоре, когда они обменивались анекдотами, и он тоже не отставал от других — все тогда долго хохотали. Другую счастливую секунду он пережил накануне, когда вспоминал летний лагерь на берегу моря, переполненного после каждого шторма матовыми медузами, которые не сопротивлялись, если их взять в ладонь. Тогда жизнь тоже шла не совсем гладко, но вспоминать об этих днях, особенно в нынешнюю темень и метель было интересно и хорошо. Потом он вспомнил свои обычные мысли о счастливых и безрадостных людях, и в это мгновение ему почему-то вдруг показалось ужасно лестно, что он мучается такими важными проблемами. На этом наступило примирение с самим собой.

Но было еще и нечто другое, именно то, что принесло ему только что такую острую и внезапную радость. Это был один взгляд, с которым он встретился в упор на самых ступенях гардероба, от этого взгляда у него закружилась голова и он неловко отступил назад, пропуская его обладательницу. Всего долю секунды они смотрели друг другу в глаза, а сейчас, если вспомнить, получается, что они уже были почти что знакомы. Бываю такие взгляды, но Борис ни за что не согласился бы думать, что так же точно эти глаза смотрят на каждого встречного.

Он понял об этой девушке многое за эти секунды. Она смеялась с любопытством, смятаемым здравым смыслом и женским достоинством, смотрела так прямо, как могут смотреть только очень самостоятельные люди, и еще что-то в этом взгляде говорило об одиночестве и поиске поддержки.

Тогда же, в вестибюле, она подошла к Сергею Меньшину, остановилась и о чем-то заговорила, ежeminутно готовая рассмеяться. Сергею потребовалось лишь несколько мгновений, чтобы ей подыграть, и скоро оба они уже хохотали.

Борис только теперь понял, что видел эту девушку уже не раз, но тогда она почему-то выглядела совершенно иначе, была совсем не такой красивой и неожиданной, как сегодня, а звали ее Ася Узнаева.

Борис подошел к ней, и они поздоровались. На этом знакомство и закончилось, потому что Сергей говорил не оставаясь, стоять же рядом и молчать показалось Борису глупым, и он ушел из вестибюля, встряхнулся под тяжелым и легким сыростью с утра пальто, хлопнул сначала одной дверью, потом второй и остался один на один с резким и колючим ветром.

Теперь он подумал, что эти несколько минут были самыми важными для него за последние полгода.

У него были реальные шансы увидеть Асю Узнаеву в Павловске, куда она, вероятно, тоже поедет, и эта мысль неожиданно сильно взволновала его и озадачила. Он вошел в ворота своего дома и направился к двери парадной.

2

Незаметно спустившиеся сумерки означали, что пора было торопиться. Сергей Меньшин, усмехнувшись, посмотрел себе в глаза через квадратное зеркало, сделал понимающую гримасу, неумело поправил галстук, который все время приходил в противоречие с воротником рубашки, растрепал волосы и тщательно причесался.

Часов на руке не оказалось, и, чтобы их обнаружить, пришлось перервать весь рабочий стол, а перерыв, оставив небрежно образованный хаос, — немудрено было опоздать.

Уже одетый, он вернулся на кухню, ухватил двумя пальцами с боков и отправил себе в рот холодную котлету. Тихо улыбаясь, он релетировал сегодняшнюю роль, слегка грубоватый, обаятельно неуклюжий мужчина с платком, явственно выглядывающим из бокового кармана.

А пока что важно было не опоздать.

Из открытого кем-то окна парадной на него дохнуло мельтёю.

Воздух на улице был колюч и темен, и если бы не окна верхних этажей, которые теплились то розовым, то вдруг синим светом, не увидать было бы собственной руки.

Он миновал переулок и оказался на проспекте, где бродили тысячи теней, бликов света от фонарей, фар автомобилей, витрин магазинов, мимо которых сновали темные фигуры, закружая за собой клубы пара.

Вечерняя суета не поколебала его бодрости и ровного настроения. Впереди его ждали, пусть незначительные, но успехи, а от них легко перейти к более крупным, не выдыхаясь и не удовлетворяясь достигнутым. Жизнь набирала ход, а то, что многие завоевания все еще впереди, только не давало скучать и ныть. Его битва за самоутверждение продолжалась уже не первый год, и в воображаемых состязаниях он уже не раз оказывался победителем. Это касалось и сегодняшнего «ночного бала», где, он знал, на него исподволь будут смотреть десятки глаз.

От ходьбы он согрелся, и снег, попадавший на щеки и лоб, освещал лицо. Он миновал витрины гастронома и старух в его дверях, деловитых старух зимней улицы. Быть может, они и не были еще старухами, а во всем виноваты были серые теплые

252

платки, но в их скучной торопливости и безразличии к окружающему было много старушечьего. Они спешили, обгоняли друг друга, чтобы купить двести граммов масла, кулек сахара или крекель к чаю и исчезнуть в низкой подворотне.

Кроме большей торопливости прохожих, ничто не говорило о близости праздника, и Сергей начал с грустью думать, что встречи Нового года что-то зачастили, стали незаметными в суете, а это было предупреждением о возрасе. Эта мысль, впрочем, насколько его не угнетала, а вызывала только веселую злость и уверенность в своей неувязимости.

Все яснее и яснее он рисовал в воображении свою новую любовь — Асю Узнаеву, ее лицо с трогательно сложными губами, когда она оглядывалась, всю ее разом, с ног до головы. Эти воспоминания были столь достоверны, что вскоре Сергей уже мысленно разговаривал с ней, тихо похлопывая себе под нос.

Реза два он обнаруживал ее фигуру на противоположной стороне улицы, с удивлением замечал, что сам заметно волнуется, откашливался и сразу же вслед за этим понимал, что ошибся. Они твердо договаривались, что едут поездом 20.18, и еще неизвестно, как они найдут своих, если поедут следующим поездом.

Ася не шла, и он про себя начал тихо ее поругивать словами, которых никогда бы не произнес вслух. В шутку, конечно. И это его немного согрело.

Автобус, желанный, как обитаемый остров посреди океана, светился голубым свечением и дребезжал всеми своими деталями, грозя немедленно развалиться.

Тем не менее там было тепло, и если сесть к окну и постараться согреться, то путешествие оказывалось увлекательным и совсем не хотелось, чтобы оно быстро закончилось.

Странная, в сущности, это вещь — вечерний зимний автобус, собравший под своими светильниками одиннадцать незнакомых путешественников и мчащий их с одного ледяного ухаба на другой! Но кто не пересекал в декабрьские сумерки город из одного конца в другой, не вдаваясь в детали этого путешествия?

А приходилось ли вам внимательно присмотреться к своему соседу напротив или справа? Взгляните, как неуверенно он смотрит по сторонам! Какой груз влачит на себе каждый из них, каждый единственный и одинокий свидетель этой поездки? Но кто же станет этим заниматься в автобусе, если только

253

сосед — не нарядная девушка с заманчивыми и смелыми глазами?

Да и не вам, сказать по совести, этим заниматься! Подумайте лучше о себе, о том, что впереди — домашние неприятности, необходимый звонок по телефону, когда вам ответят: «Как, как? Повторите вашу фамилию!» — и с возмущением скажут: «Не знаю такого!», или пустая комната и открытая баночка бычков в томате на столе. Это не располагает к любопытству.

Поэтому каждый пассажир положительно решает собственные проблемы, думает о прошедшем дне и встает, боясь пропустить свою остановку.

В автобусе никто не обратил особого внимания на Окоемова и не знал, что он, подперев лицо, мучительно им всем завидует.

Лязгнули двери, и знакомая, как навязчивая мысль о ней самой, в автобус вошла Ася Узнаева, скользнула взглядом по рядам кресел и уселась спиной к Борису. В ту секунду, когда он видел ее лицо, оно поразило его своей серьезностью и сосредоточенностью.

Бориса охватила легкая лихорадка. Если сейчас не подойти к Асе, то это будет означать, что они незнакомы, хотя только час назад видели друг друга. В этом случае знакомство надо начинать сначала, и кто скажет, каких еще новых неловкостей оно будет стоить? Если вообще состоится.

Этого допустить было невозможно, и Борис чуть не прикусил язык от решительности.

Он поднялся со своего места и, балансируя в проходе, направился к переднему сиденью.

— Вам выходить на следующую... — тоном заговорщика произнес он и уселся рядом с Асей.

Она молча на него посмотрела и слегка приподняла брови. — Следующая остановка — Витебский вокзал... — откашлявшись, добавил Борис.

Тут Ася вспомнила, что они знакомы, и должного отпора давать не потребуется. Тотчас же она приняла его условия игры.

— Надо полагать, телепатия? — сказала она и повертела пальцем у виска.

— С уклоном в психопатию, — ответил Борис.

Они соскочили на скользкий тротуар и, спеша, зашагали к пригородным кассам.

Там их ждал Сергей, ни одним движением лица не выдавший своего удивления или недовольства, и они побежали на платформу все вместе и все порознь. Сергей внимательно

присматривался к Борису, не понимая, как ему удалось его опередить, и спокойно говоря себе, что Борис — несерьезный соперник. Говоря себе это, он тихо и удовлетворенно улыбался.

В вагоне они нашли общих знакомых.

В его восемнадцать с половиной лет Бориса Окоемова только условно можно было назвать взрослым. Как мучительный недостаток он ощущал свою юность и неопытность в мужских делах.

Все чаще это ему казалось главным изъяном, не преодолев который, ему становилось все тяжелее и мучительней жить.

А между тем как соблазн и искушение эта проблема стояла перед ним с неполных четырнадцати лет, то вызывая невероятные предчувствия и ослепительные грезы, то мучая неуверенностью и страхами.

Первый зрительный соблазн перевернул все в его жизни.

Скромные девочки в трусиках в сборочку во время занятий физкультурой так потрясали его, что он не в состоянии был проглотить комок в горле, руки его начинали дрожать и колени подгибались.

Только страх стать отцом в четырнадцать лет оказался силой, которая остановила его бешеные грезы, не дав им осуществиться.

Вместо того чтобы почувствовать уверенность в себе для более тесных отношений со своими юными сверстницами, он, наоборот, замкнулся в себе и как-то особенно резко пресекал всякие попытки даже простого и дружеского сближения.

Минуты и дни вождений сменялись месяцами угрюмства и отчужденности.

Постепенно эта естественная, неизбежная проблема стала главной проблемой его жизни, проблемой, с которой он постоянно пребывал наедине, без любых посредников или свидетелей, и наконец первый любовный опыт начал рисоваться ему проблемой, сходной по сложности с посадкой космического корабля на поверхность Луны.

Позже чередой возникали влюбленности, чаще всего не сопровождавшиеся чувственными устремлениями, с громадным душевным подъемом, пересмотром всей своей жизни, начиная с чистки обуви и перемены убранства комнаты и кончая отношениями со всеми близкими, с безграничной радостью от каждой минуты существования, любви короткие и опустошающие.

Но позже, уже к восемнадцати, и это превратилось для него в проблему. Ему казалось, что те бурные и восторженные чувства, которые он пережил в отрочестве, ушли бесследно, и он ежеминутно мог тосковать по безграничному душевному поддому, которого, как ему казалось, теперь уже не вернуть.

От этого жизнь становилась все сложнее и сложнее. А тут подкатил новогодние праздники, начавшиеся с поездки на ночной новогодний бал в Павловск.

И вот уже поезд набирал ход.

Какне-то химеры витали в клубах снега над платформой Павловска, и, несмотря на смутное свечение станционных фонарей, не видать было собственной руки.

Поезд миновал Пушкин и, набирая скорость, мчался среди полей и занесенных снегом оврагов с обнаженными черными прутьями кустарников. Все трое стояли в тамбуре, в котором казалось особенно пустынно из-за мороза, который украсил окна и даже стены толстым слоем мохнатого инея. Дуло из окна и через притворенные двери между вагонами. Все лязгало и ходило ходуном. Приблизив лицо к черному окну без стекла, Борис на секунду погрузился в снежную глубину ночи, где среди белых пустот рвал пространство на клочки встречный ветер. Мир был окрашен черным и фиолетовым.

Перекинутая лязгавые колес, они попытались продолжить разговор и веселье, но это оказалось слишком сложно, и все замолчали, глядя то себе под ноги, то в глаза друг другу. И Ася, и Сергей не понесли ущерба от этого молчания, а для Бориса оно, неведомо почему, стало мучительным. Каждая секунда безмолвия его тяготила. Вечер еще только начинался, а он уже казался ему испорченным. Испорченным не для себя, конечно, а для окружающих.

Два раза дернув, поезд остановился, упругие полосы пурги за окном стали бессильными клочками снега. Медленно кружась, они падали на рельсы. Ноги, привыкшие к вибрации, тихонько заняли.

Вереница темных фигур потянулась на мягкий белый перрон, стала образовывать кружки, группы, поток, который струился с перрона под тени деревьев, где вилась протоптанная дорожка. Освещенные синим светом изнутри, автобусы обогнали потоки, тяжело приседая на задние колеса, уносились за поворот, подмигивая красными огоньками и оставляя позади себя темные облачка газа.

Именно с этой минуты Бориса охватила нежность ко всем, кто был рядом, радость, сменявшая утрость, начала звучать

осторожно, щемяще и взволнованно. Хрупкая, такая, что сепадо было каждую секунду оберегать от боли, огчающая, как вызов судьбе, знакомая, как вернувшееся детство, она уже не оставляла его всю ночь.

Он оглянулся по сторонам: воздух был здесь не в пример свежее, и даже тумал мерцающий снег казался привлекатель. Можно было не думать и не смотреть по сторонам, и смотретьто было не на что, во всяком случае, у Бориса впечатление о Павловске состояло из воспоминаний о черной, полуоттаннишей дороге, о дуллистой иве над мостом, смеющихся рослых женщинах впереди и падающих с деревьев легких сцепленных снега.

Потом спереди встали железные ворота, толпа в дверях. Войти в них и согреться удасться еще не скоро.

Давно уже у Бориса не возникало такого ясного ощущения, что он на месте, и нигде он не чувствовал себя так хорошо и спокойно, как у этих железных ворот, запруженных человеческими фигурами. Все, что говорилось рядом, казалось ему сейчас особенно метким и сдержанно-остроумным, и он со стороны поглядывал на себя в окружении приятелей и, словно впервые их увидев, радовался их простоте и достоинству.

В суетоке гардероба все скоро нашли друг друга и, постепенно согреваясь, поджидали отставших, чтобы двинуться вместе в зал, где уже грохотал кустарный дискотека и возбужденно обсуждали проблему покупки спиртного совсем еще молодые люди.

Шло распределение столиков в зале,плыли над головами стулья, сдвигались столы, возникали неизбежные конфликты, которые тут же улаживались. Соседи Бориса терпеливо вертели в руках бокалы, пока стекло не затуманивалось, в ожидании бутылки и закуски, за которыми ушли в буфет их друзья. Оставалось осматривать зал, отыскивать тех, кого знаешь в лицо, и заставить их врасплох за суетой или безнадёжными поисками стула. Суету и неустроенность постепенно успокаивала водка и «гамза», раздобытые на общие пани, и вот уже некто в сверкающе-красном поджаке уводит девушку из-за ваниго стола танцевать. Кривь бурно и размеренно бьется в виске, все происходящее становится напряженным и волнующим действием, стоит немного наклонить голову, и зал уже валится в непонятном, грохочущем в такт биению крови в голове танце под уклон, и в то же время стоит на месте, и вот наконец перед Борисом только глаза — женственно блестящие, глубокие и темные, смотреть в них — напряженное и долгожданное наслаждение.

И уже не надо поддерживать разговор, слушать соседа, а достаточно медленно повернуться и увидеть в неровном свете подслеповатых люстр гадящие столтики, приземистые колонны, одно или два осмысленных лица, женские ноги, закинутые одна на другую, руки, поправляющие прическу спешно для вас, — и все преобразится.

Неловко поднявшись, все трое, Ася, Сергей и Борис вышли из-за стола. Сергей критически поглядывал на Бориса, а тому казалось вполне естественным сопровождать Асю. В вестибюле гулял холод, и это действовало отрезвляюще. Со всем не дворцовая лестница вела вверх. К ней надо было идти мимо низких зеркал. Человек со старчески съезжившимся лицом в малиновом гусарском мундире, с кисточками и на ватине, с остатками белых перьев от подушек на спине прошел мимо них по лестнице.

— Это Иван Васильевич, — прокомментировал Сергей, — он замечательный человек. Он приехал из Тувы. На лекциях он переписывает запово «Анну Каренину», у него большие претензии к этому роману. Еще он пишет либретто оперы. Или балета, точно не знаю.

4

Десять минут они сидели тесным кружком. Окосмов исподволь смотрел, как она поправляет волосы, прислушивается к разговору, колеблется, стоит ли принимать всерьез своих новых знакомых. Ей все-таки было довольно интересно, и она не подозревала, что едва заметная улыбка, vyplывающая на ее губах, делает ее новой и недоступной. Ей было легко и весело, и она не знала, что почти уничтожила Бориса своей прелестью. А ему только хотелось подольше быть возле, сжаться и уменьшиться в размерах, затаить дыхание. Он не смог бы сейчас сказать, что его так привязывало к Асе Узнаевой: утренняя решимость идти до конца или искренний порыв. Для увлечения это было слишком жутко и рискованно. Его поражала ее полная самостоятельность: ничто не омрачало и не сковывало ее спокойствия, она смеялась и сверкала тут же, рядом, но совсем не для Бориса и помимо него. Она ни к чему не хотела принуждать его. Это показало ему таким ценным, что он взволновался, точно стоял на краю обрыва или бездны. Так ему стоялось у откоса, на стене генизской крепости в Крыму прошлым летом, в августе. Его сердце так же трепетало, когда, поднимаясь по тропинке между сухими стеблями травы и ко-

лючек, он все шире различал края залива, помосетую глубину воды, горизонт, слегка наклоненный вправо, поселок в низине в тени разомлевших деревьев, пыльную по краям дорогу и снова море, лежащее в мутных и чистых, зеленых и синих пластах воды. Посередине залива колебалась красная аржавленная цистерна, и к ней плыл одинокий пловец. Тогда Борису было так же хорошо и страшно в шаге от пустоты.

— А того человека в странном галстуке я, кажется, не знаю...

— Не кажется ли вам, Ася, что уже достаточно знакомства для одного вечера? — критически спросил Сергей.

— Похоже на то, что даже слишком много.

— Разбавляли вас, Ася, вот что я вам скажу. Вам бы с вашими данными надо заниматься физическим трудом.

Борис посмотрел на Асю, на ее спокойно отдыхающее в недрах дивана тело и тихо сказал:

— А что, Ася бы с этим отлично справилась. Бегала бы с ведрами за водой...

Ася понимающе посмотрела на Бориса и сказала:

— Спасибо.

За последнее время жизнь редко казалась легкой и победительной в глазах Бориса, гораздо чаще ему приходилось на словах доказывать себе, что будущее стоит еще одной попытки. Сейчас он едва слышно сказал: «Пожалуйста», — потому что это «спасибо» вызвало в нем острую, как укол иглы, радость. Эта радость освежила и мгновенно примирила его с окружающим миром, и полутемный тупик коридора с белым окном, с ненагертным матовым паркетом, с клеевым запахом новой мебели открыл ему свою добрую, благодатную сущность, а будущее стало удивительно легким.

Но так было только одно мгновение, потом радость покинула его, ее оказалось невозможно задержать и превратить в поступки, и внезапно он почувствовал, что находится рядом с Асей — дело, ему почти непосильное. И это опять погрузило его в отчаянье.

Он подумал, как далеко его дом, постель, обивка дивана перед глазами, единственное желанное место для него в эту минуту, от которого его отделяла долгая ночь, путь в эскотричке с воспаленными от недосыпа веками, необходимость быть свободным, уверенным...

Неожиданно Сергей поднялся со своего места рядом с Асей. Он выглядел почему-то раздраженным и озабоченным. Прорбормотав что-то себе под нос, он большими шагами уда-

лился по коридору, оставляя Бориса с Асей сидеть вдвоем, рядом на скомканном чехле дивана.

Казалось, Ася поняла смятение Бориса и постаралась его успокоить.

— Я послы, — сказала она кротко и, свернувшись калачиком, улеглась на краю дивана.

Борис остался сидеть, подперев подбородок руками, бережно глядя, как вздрагивали ресницы и тихо шевелились губы на ее мирном безмятежном лице.

Она чему-то тихо улыбалась, чего-то словно бы ждала...

Не в силах преодолеть оцепенение, Борис сидел и думал.

Полное молчание продолжалось минут десять.

Ресницы задрогнули, и она проснулась.

— Куда это пропал наш новый знакомый? Пойдемте его поищем.

Она ушла по коридору так стремительно, что Борис чуть не отстал от нее.

Пора уже было расходиться, и непроизвольно все потянулось в каком-то общем порыве в вестибюль, к гардеробу.

Втроем они стояли в сторонке, выжидая, когда самые шумные и нетерпеливые их коллеги поделят свои пальто и шапки, когда растащат по углам шубы и платки.

Ничто не дрогнуло в лице Аси, то же безмятежное ожидание светилось на нем, а для Бориса она вдруг стала бесконечно далекой и недоступной. Что в ней изменилось, сказать было невозможно, но она была совсем другой, чужой и уступающей равнодушной.

— Я, кажется, оставил свой номерок в коридоре... — рассеянно шаря по карманам, пробормотал Борис. — Подождите меня, я митом...

Через три ступеньки он перелетел наверх по лестнице, повернул за угол, ощутил памятный теперь ему на всю жизнь запах свежесклеенной мебели, увидел вновь ту же знакомую декорацию: окно с белым подоконником, диван, на котором сбилась в угол полотняная ткань чехла...

Номерок нашлся в самом углу, он чуть не провалился в щель.

Когда Борис вернулся в гардероб, на него подудло морозным ветром и безлюдьем. Сергей и Ася исчезли.

В руках сам собой вертелся номерок.

Он посмотрел на него: 487.

«Надо будет запомнить», — почему-то сказал себе Окосмов.

С утра к перронам ленинградских вокзалов, пробираясь между каракулями пригородных сараев, заборов и домишек, исчезаая в зимнем тумане, оглашая окрестности долгими криками, двинулись осторожные зеленые электрички. В одном вагоне, окруженные современниками-попутчиками, сидите вы, и голову вашу качают из стороны в сторону вдоль рамы окна тормоза и моторы этих утренних поездов. Но быть может, меня обманула внешность, и я ошибся, приняв вас издали за знакомого, и совсем другой человек, иных убеждений, сидит у окна, и, значит, на станциях «Скачки», «Аэропорт» или «Дачное» мне не вырваться из своего одиночества. И лучше вспомнить о том, куда я еду, об улице, где воздух пропитан кислым и угарным туманом, и не шевельнется ни одно легкое украшение на здании вокзала, как не взлетит, взмахнувши крыльями, ни один архангел с карниза Исаакиевского собора, не ужаснется возможности убитых, упав с высоты, ни один мудрец на стенах Эрмитажа, их не удивит твое неожиданное появление, твоя радость от встречи с округлой гранитной плитой набережной, на вершине этого единственного в твоей жизни мостика.

Каким я вижу этот город в своем воображении? Сегодня это осенняя мокрая улица, обдуваемая ветром, с распылившимся в лужах светящимися бликами отраженных фонарей, с дощечкой автобусной остановки на отсыревшей штукатурке рядом с толстой мемориальной доской, пустынная автобусная остановка и необыкновенная, печальная радость от предстоящей встречи, от чувства, что здесь тебя знают и ждут. В другой раз город явится воспоминанием о высокой моей комнате, о морозе, молчаливо и серьезно надвинувшемся на темное окно, за которым снежная пустыня, и виден среди красных пятен и колеб в глазах от только что погашенной лампочки лепной карниз потолка в малиновых отсветах уличного зарева, и опять то же чувство участия в общем, глухом и высоким размышлении о жизни. Или освещенный подвал гастронома, пол в котором залаян грязью, яркий свет делает лица неправдоподобно бледными, а ноги уходящей в рыбный отдел женщины напоминают о возможности счастья; или необыкновенно чистое сентябрьское утро над Михайловским садом, не желающим желтеть раньше времени, с золотым и тяжелым крестом на шпилье Павловского замка, и высокие белесые небеса — память о прошедшем лете. Так город бесконечно меняет свой облик.

Каждое утро на его лице лишь сдвигаются скулы, а выражение надменного лица остается серьезным и безразличным. И не надо так уж часто оставаться один на один с Александрийской колонной, маяками Ротстральных колонн, охраняемыми изысканными временами каменными богами, не надо так уж часто проходить под аркой Святейшего Синода, чтобы знать, где ты живешь. И можно лишь на секунду увидеть через запотевшие стекла, как мелькнет купол Адмиралтейства, в который упирается Гороховая улица, и унести в автобусных колесах в совсем другие, скучные кварталы, все равно ты останешься гражданином оставленной столицы, таким же сосредоточенным, как этот город.

Борис возвращался шестичасовым поездом в компании усталых и, к счастью, сонных приятелей. О Сергее и Асе никто не вспоминал, считая тем самым их отсутствие вполне законным и естественным, и сколько мог видеть Борис, никто за ним тайно не наблюдал и тихо не издевался.

Уже открылись двери метро и, шагнув с эскалатора, можно было не обращать внимания на имитацию царскосельского пейзажа станции «Пушкинская», а вместо этого отдыхать на мягкой скамье поезда, где вполне достаточно места для всех, кто войдет на станцию «Площадь Мира», после пересадки на Технологическом, по перрону которого двигает свою широкую швабру с кучей опилок уборщица в синем халате.

Борис поднялся по узким и высоким ступеням на асфальт Невского проспекта, когда на Думе что-то перезванивало и светилось. Было сыро и давно уже не холодно. Началось 31 декабря нынешнего года. Пора было идти домой, в знакомые ворота, лязгать ключом в дверях, спотыкаться в коридоре и спать, спать без памяти, без движений.

6

Ася Узнаева любила сама находить себе знакомых. Их было много, они либо держались с неестественной веселостью, изображая неприязненность или претендуя на панибратство, либо были откровенно влюблены. И она не уставала раздобывать знакомых повсюду, где бы ни оказывалась, в самых неожиданных местах, хотя само по себе знакомство еще ничего не обозначало. Ее испытующий и любопытный взгляд бродил по чужим лицам, и в этой любознательности не было ни блажи, ни легкомыслия. После еще недавних первых влюбленностей, когда вдруг становилось совершенно очевидным, что не найти человека ни умнее, ни ближе, а потом приходило столь же убедительное разочарование и отчужденность, пришла пора

262

разумного и самостоятельного выбора. Она не могла больше ждать и сама отправилась на поиски тех единственных и необходимых черт, найти которые она готовилась с самого детства.

Она сделала опытное и разборчивое.

Привлекательных и мужественных лиц встречалось довольно много, но уже не новостью было то, что удивительное на первый взгляд лицо может вызывать непреодолимую скуку.

Лишь смутно Ася намечала себе более точные способы определения человеческих ценностей, и по-прежнему за складом губ и выражением глаз ей виделась какая-то особая, неведомая и необыкновенная жизнь, а это было уже похоже на влюбленность.

Вскоре она приобрела необходимую твердость и способность маневрировать, а спокойствие и равномерная приветливость сделали ее действительно приятной собеседницей. Наверное, не было возле нее человека, к которому она отнеслась бы подозрительно или враждебно. Случались, конечно, обиды и неприязни, но они не задевали ее безмятежной сути.

Мельком она видела, встречая собственный взгляд в зеркальном отражении, неожиданную свою прелесть, какое-то матовое свечение, и еще чаще встречала вокруг такие же искаженные взгляды со стороны. Она не отводила глаз, заглядывать в чужие глаза было легко и неопасно, а если переkreивание взглядов затягивалось, то она с мягкой улыбкой опускала глаза, и нельзя было найти в ее лице отчужденности или неприязни. А чья-то враждебность ее огорчала и удивляла. Она старалась найти в себе основания для дурного к себе отношения, но не находила, и эта необъяснимая чужая злоба иногда заставляла ее плакать, чаще всего в постели перед сном. Но обычно слезы приносили сладкое успокоение, с которым она забывалась и расставалась лишь за несколько мгновений до того внутреннего толчка, который возвращал ее к реальности смятой постели, цветов на черной ширме, отблесков стекла на стене. Она вздыхала, проводила рукой по жестким волосам и бодро накидывала халат.

Она искала опору, которая дала бы ей уверенность в себе и возможность бессознательно кому-то подражать, человека, который сумел бы определить ее самостоятельное и достойное место в мире, и, видит бог, для нее не существовало каноничных и принятых репутаций — в выборе она доверяла не чужим словам, а только своему чувству.

Меньше всего она могла бы рассказать что-нибудь о своих переживаниях и порывах. Она видела саму себя лишь через отношения с другими людьми и, потеряв из виду человека,

263

вскоре переставала думать и вспоминать о том, что ее с ним связывало. Так жизнь несла ее мимо лиц, фраз, дней, зданий, фигур на маленьких островах, небритых и отчаянно размахивающих белой тряпкой, и все время ее не покидало чувство, что все это еще только начало, вступление, а самое главное еще едва виднеется.

Так она добралась до знакомства с Сергеем, потом Борисом, которые на первых порах не слишком выделялись среди многочисленных друзей, однако что-то назрело в ней такое, что кому-то из них она должна поручить свое доверие и легкий соблазн сближения.

Тяжелый сумрак смотрел в окно на следующий день. Борису больше нигде не хотелось идти, да и приглашений заманчивых не было, и он встречал Новый год дома.

В крахмальной рубашке, хранящей на рукавах складки от глаженья, он сидел за столом маленькой столовой, нога закинута за ногу, локоть упирается в колено, ладонь подпирает подбородок. За столом сидели гости родителей, и его занимало довольство и легкое лукавство этих пожилых уже людей, устоявших в бурях жизни, ставших к своим шестидесяти годам теми, кто они есть, и решивших сейчас, вдали от бурь, создать видимость полной безмятежности. Для домашних встреч у них были припасены особые гримасы, шутки, лица, и казалось, не было ничего в мире, что могло бы вывести их из благодушного спокойствия и лишить возможности весело и умно посмеяться. Борис воображал Асю сидящей здесь, розовую от свежего воздуха, расправляющую платье на коленях и поглядывающую на него, как он чокается, удачно шутит, берет лососа из жестяной банки, тербит угол скатерти, откашливается. Но у нее все было иначе, и, кто знает, что делает она сейчас в своей дали, и, хотя Борису казалось, что ей в эту минуту так же одиноко и торжественно, как и ему, вернее не казалось, а верилось, потому что он был убежден, что хорошо, лучше других понимает Асю, тем не менее его не оставляло чувство покинутости. Оно как бы знаменовало собой последние часы уходащего года. Пусть же они будут еще стесненнее и горше. А Новый год впереди еще такой безгранично большой и полный неожиданных радостей, что в нем все получится иначе.

После тостов, смеха, передачи по рядам дымящегося пирога, отодвигания стульев, рюмки водки, помидоров без кожур, падения вилок, речи по радио, боя курантов, пузырьков газа на замутненных хрустальных бокалах, успокоения, когда все сели, празднично зазвонил телефон. Взволиковано пред-

чувствуя что-то, Борис выбрался из-за стола. В передний праздничный оживление слышалось слабее и глуше, чем отчетливый звонок. Борис осторожно протянул руку к телефонной трубке и заговорил, стараясь, чтобы голос его хорошо слышался.

— Да.

— Кто это?

— Это... я. А вы кто?

— Пятый контрольный?

— Нет совсем не пятый, далеко не пятый.

— Это Козлов говорит. Мне пятую подстанцию.

Вот и поговорили. Вешая трубку, Борис слегка прикусил язык. Потом он вернулся на свое место в углу столовой. Здесь что-то говорили интересное.

7

Куда девались недавние морозы? Толстые стены, еще хранящие в себе холод прошедших ночей, заросли инеем, белые разводы которого делали дома словно бы недостроенными, дворничихи металы привычными деревянными лопатами грязные глыбы слежавшегося снега под колеса автомобилей, которые тязко и жирно разбрызгивали желтое месиво снега, воды и песка.

В какое-то мгновение Окоемов весь его день с ходьбой, открыванием дверей, ездой в автобусе, сидением перед зеленой лампой в библиотеке, терпеливым ожиданием в очереди с номерком в руке, показавшись черновиком, густо перечеркнутым и лишь кое-где украшенным посторонним орнаментом. Он сосредоточенно шагнул по узкой, возвышающейся над лужами, почерпелой тропинке посреди двора, и эта суета и скрытое раздражение вот-вот должны были успокоиться дома, словно они к этому и стремились. Он долго вытирал ноги в дверях об кусок еще недавно зеленой дорожки.

Было бы любопытно понаблюдать посторонним взглядом за человеком, пришедшим домой, когда там никого нет, пребывающим в тягелой задумчивости и к тому же не знающим, чем себя занять в ближайшее время. Он останавливается у стула, на котором лежит скоманная газета, и читает: «У нас в Ереване более двадцати девачат спортсменок, и это немало, особенно...», потом снимает правый туфель, подпирает голову рукой и замирает на стуле, не в силах решить, хотел ли оскорбить его приятель, сказав, что у него не было настроения звонить вчера вечером, потом подходит к окну и наблюдает жизнь водосточной трубы. Потом решительно садится за стол

и обхватывает голову руками. В этот момент он может размышлять о тайнах Вселенной с таким же успехом, как и думать, чего ему больше хочется — поест или поспать. Борис открыл учебник по диалектологии и стал читать, уже получая удовольствие от сравнения формулировок и только что появившихся собственных мыслей, когда ему пришлось подойти к телефону. Это был Сергей.

— Ну, и как же ты думаешь провести сегодняшний вечер?

— Мне казалось, что он уже наступил...

— И тебе не надоело еще корпеть над книжкой? Не лучше ли предаться разгулу, развешаться, а уж с завтрашнего утра начать заниматься по-настоящему?

— Чтобы предаться разгулу, мало одного желания...

— Самое главное — чтобы было желание... Мы тут с Асей уже успели надоесть друг другу.

Борис представил себе Асю стоящей рядом с Сергеем, касающейся рукой его плеча, он даже уловил ее дыхание.

— И что же? Ты хочешь, чтобы я уладил ваши взаимоотношения?

— Не знаю, она попросила меня позвонить тебе... Сейчас она сама тебе скажет.

— Здравствуйте, Борис. Это Ася.

Это было сказано с сумраком в голосе.

— Я это понял. Что слышно?

Сколько фальши может быть в одной фразе!

— Вы не хотите с нами встретиться?

Во-первых, она сказала «с нами», во-вторых, прошло два дня, в-третьих... «со мной» было бы неуместно.

— Могу ли я не хотеть с вами встретиться? Но что мы будем делать втроем, не пойму.

— Не знаю.

В этих словах звучала усталость. Борис постарался поскорей что-нибудь придумать.

— Ну, давайте пойдем в кино, например. Если посмотреть в газете, то может быть, что-нибудь и отыщем.

Они договорились встретиться в полдевятого на углу Невского и Литейного.

Бориса охватила жажда деятельности и сменявшее усталость чувство примиренности, которое наполнило его жизнь какой-то горькой сладостью, и в этом, казалось, был заложен глубокий смысл.

Сергей Меньшин не предполагал, что можно так усложнять интимные отношения. Он любил людей, которые знают, чего они сами хотят. Этого, казалось, нельзя было сказать об Асе Узнаевой. Она сидела на тахте, подобрала под себя ноги, потупив глаза, прикрытые прядью волос, была холодна, молчалива и спокойна. Удивительным в ней было это ее спокойствие, которое она выдерживала гораздо дольше, чем способны были выдерживать ее противники, и там, где они уже не могли скрыть раздражение или нетерпение, она хранила бесконечно-безмятежные паузы, которые была свободна оборвать в любую секунду. Последнее слово, таким образом, всегда оставалось за ней. Но ей не нравилось только торжествовать и господствовать над другими, и она не была слишком уж чужой Сергею, она умела и любила уступать и подчиняться, но это неизменное упрямство, приходившее на смену нежности и послушной мягкости, заставляло просто жалеть ее как существо, замкнувшееся в своей недоступности. Но и тут спокойствие ее выручало: отрешенность переходила в ровное, с весельем в шурящихся глазах, благодушие и безмятежность. Тогда он чувствовал, что возле него не было лучше подруги, какие бываю у двенадцатилетних мальчиков: преданные, всепонимающие существа в носках-гольф, в голубой юбочке, вышитой красными и желтыми цветками.

Когда они поднялись с дивана и вышли в прихожую, Ася стала такой девочкой, милой и послушной. И в то же время она сосредоточенно думала о чем-то своем. Раскачивая сомкнутыми руками, они сбегали вниз по лестнице. У дверей парадной светился зеленый фонарик свободного такси, водитель что-то записывал в свой путевой лист, и спидометр тускло подсвечивал на мятую бумагу.

На условленном углу их ждал Окоемов со сползающей набок непрошеной улыбкой. Еще за двадцать шагов он увидел, что они не просто идут вместе, что они идут согласованной и дружной парой. Такие вещи невозможно скрыть, они видны в легкости и слаженности движений двух людей, невидимо связанных друг с другом. Чувствуя это и не желая этого показать, Ася Узнаева немного отошла от Сергея, но это ничего не изменило, и она смущенно и вопросительно улынулась Окоемову. А для него этого оказалось достаточно, и он понимающе улыбнулся. Эта улыбка помогла ему нести душевный хаос, который навалился на него, лишь только они пошли вместе. Ася держалась с обоними знакомыми одинаково отчужденно и сурово, но это не мешало Борису чувствовать все

время, что он забегает с правого боку и вынужден вертеть головой. Сергей же лишь тихо поспеннался утолком рта, наклонился к Асе, бережно поправял ей шарф, убирал соринку возле глаза. Так они и шли, пока не оказались на людной лестнице кинотеатра, уже нельзя двигаться самим по себе, маленькими шагами добрались до своих мест, сели и через минуту исчезли в темноте.

Слустья два часа, еще не отрешившись от громкой и ослепительной жизни под ярким небом на морских берегах, выжженных солнцем, в которые ударяют волны цвета индиго, от загорелых лиц и ловких движений, они вышли на посыпанный снежной крулой Невский и еще долго приходили в себя. Сначала вернулася и стал своим Невский с фонарями, потом недавнее прошлое, потом обычные обязанности и заботы.

— Надеюсь, мы расстаемся не навсегда? — сказала Ася Оксому у автобусной остановки.

— Да, если повезет.

Ему не надолго хватило трезвой расчетливости.

— Конечно. Можно вам позвонить как-нибудь?

— Запишите телефон.

9

На другой день Оксому не позвонил Асе, хотя что-то подталкивало его к этому. Он решил идти в Филармонию, потому что был назначен концерт его абонемента, книжка которого, использованная до четвертого талона, валялася в боковом ящике стола отца. Кроме Бориса, идти было никому.

В полседьмого он лежал на диване, закинув руку за голову, устремив глаза куда-то вперед, и в его сознании отражалось, казалось, все сразу: и прошедшая новогодняя неделя, от которой оставался пронзительно-горький, но почему-то радующий осадок, и комната с высокими сводами, лежать под которыми изо дня в день было неутомительно, хотя он точно так же лежал под ними много лет, начиная с самого детства, но, конечно, в детстве это была совсем другая комната, как была она другой и пять лет назад, и позавчера, и сегодня утром; в его сознании звучал голос Аси, происходил разговор, который пока еще не состоялся, но он и сейчас ликовал, думая о нем, — легкомысленно-веселый, но очень серьезный разговор, важность которого она поймет по первой же фразе, прозвучавшей в трубке; и черные стены его двора, и звонок развораживающегося трамвая; и то, что он сегодня прочитал в газете; и множество мелочей, которые он мог в любой момент вспомнить и обдумать; и сама Филармония, в которую он через

268

пять минут пойдет, ее зал, белый, золотой и красивый, с солнечным слепящим светом люстр, белыми в прожилках колоннами и темно-красными бархатными портьерами, кажущимися пыльными, с энергично кипящей темной толпой в партере и на балконе.

Он поборол дремоту, встал, ощущая, как в левую ногу тысячи молоточков заколачивали микроскопические гвоздики, и стал собираться, уже боясь опоздать. Сегодня будет Шестая симфония Чайковского.

Оксому ходил в Филармонию довольно редко, даже считал там, но всегда после этого оставался у него полные и важные воспоминания, которые придавали ценность прожитому дню. Когда он был младше, приход туда казался торжественней и незыблемей, а со временем он привык относиться к таким зрелищам равнодушно, и вечер, проведенный в Филармонии, лишь ненамного отличался от обыденности. Но сегодня каждая минута жизни приобрела новый смысл, все наполнилось значением, и если бы сейчас Бориса оставить лицом у глухой стены заднего двора, он и там наслаждался бы ее прохладой и сложным узором трещин и пятен плесени на бледной штукатурке. И хотя сегодня он наверняка не встретит Асю Узнаеву, он будет идти как бы ей навстречу, и его радость от этой возможной встречи найдет тысячи новых форм и воплощений.

Пошелкивая и гремя проводами, разворачиваясь, проплыл освещенный троллейбус — еще одно обитаемое место в тесно заселенном квартале, где люди жгли свет, ели, отдыхали, закрыв глаза или глядя в невысокий потолок. Последние недели Борис смотрел на свое городское окружение, на людей, толпившихся рядом, совсем иначе: раньше он недолюбливал и завидовал многим, теперь стал равнодушнее и доброжелательней. Что он знал о каждом из них? По молодости лет он жизнь каждого незнакомого человека представлял себе как совершенно особую, неведомую область. Он не создавал того, что жизнь имеет одинаковые и очень прозаические основы: работа, семья, отдых, еда, супружеская жизнь, кровать и коврик над кроватью, отсутствие денег, ожидание на сиденье троллейбуса или автобуса и, как привилегия, место в купированном вагоне, запесенные снегом поля и узкая полоска леса на горизонте за окном поезда. Больше всего его доброжелательность относилась к женщинам, которые жили совсем уже незнакомой, мажущей и непохожей на его жизнь. Теперь все переменялось: его собственная жизнь стала недоступной для всей этой толпы, и только жизнь Аси Узнаевой должна была стать попятной, не утратив при этом прелести своей недоступности.

269

Окоемову предстояло идти по прямой от поворота улицы, на которой не было ни одного витринного стекла, где прохожие разбегались по тротуару, чуть не задевая друг друга, и которая вела в оживление Невского проспекта мимо оплывших колонн Казанского собора. Не жалея обуви, навстречу текли и текли по широкому тротуару проспекта люди. Улица вербует себе добровольцев, и напор ее не ослабевает до поздней ночи. В ней люди живут вне должностей и профессий, и самый важный работник не найдет, чем доказать свое превосходство над остальными: он всегда лишь прохожий, и нарядные женщины, прячущие хрупкость и белизну ног в высокие сапоги, не остаются на нем взгляда дольше чем на одно мгновение.

На улице Бродского уже можно было отличить медленный темный поток, стремящийся к Филармонии мимо служебных дверей, в которые вписывается виолончелист, боящийся опоздать к выходу оркестра.

Теперь надо было миновать три тяжелые двери, к которым маленькими шагами двигалась интеллигентная толпа. Навстречу старушки уже здесь встречали знакомых и заводили любезную и приятную беседу, до тех пор пока не выяснялось, что они не знают, как зовут друг друга, а точнее говоря, видятся впервые.

Старушки вынимали из ридикюлей билеты, а студент в распахнутом пальто пробивался обратно, потому что забыл свой билет дома, благо что живет тут недалеко. Борис разделся и, пригляживая хохол на затылке, вышел на главную лестницу. Он вздрогнул, узнав в девушке, выходящей из боковых дверей, Асю Узаеву, нравственно поклонился, ошеломленный, но увидев, что это совершенно незнакомая и даже некрасивая девушка. Лицо Аси преследовало его, выплывая снова и снова в чужих женских чертах, кружилось вокруг него, исчезало, замирало и улыбалось.

Между тем переходы, лестницы и залы начинали свою зыбкую, но торжественную жизнь. Покинув тесные жилища, потратив полтора часа на дорогу с проспекта Космонавтов или из отдаленного угла Васильевского острова, привезя выходные туфли в авоське или незаконченную диссертацию в портфеле, припугнув лихорадку над губой или причесав себе лысину, все вместе они составляли, талантливые и посредственные, это торжественное вечернее представление.

— И вы здесь, Даша? Это моя жена. А это Даша — моя сослуживка. Помнишь, я рассказывал? Ну-ка вспомни хорошо. Не рассказывал? Ну, тогда пойдемте купим программу. Ах, и вы не одна? Ну, тогда всего доброго,

Вспыхивали три антимульки, и снова на лицах безмятежный покой и штиль.

Здесь были пожилые пары: преподаватели в черных костюмах — жена с гладкой прической и слетка надушенным платком в руке, муж хромает на правую ногу — специалист по латыни; профессор хирургии, привыкший к классической музыке за долгие годы уступок светским наклонностям жены; другие, вспоминающие свое ушедшее, сядя в кресле, слышащие, как разговаривает их молодое, отрешившись, создавая сидящие в такие минуты напряженно, были молодые любовники, вокруг себя облачко электричества; были молодые любовники, у которых одна судьба — пожениться, хотя оба были друг другом недовольны; одинокие пожилые женщины с тонкими нервными губами и вздрагивающими от музыки коленями; студент Консерватории, призванный в армию, и еще другие, всех не утмонишь.

Окоемов шел по краю ковровой дорожки, не роняя собственного достоинства под перекрестными взглядами. (Где-то смеялась, забыв о нем, подавала кому-то руку, смотрела в глаза, сверкала улыбкой.) В кресле он устроил локти на ручках, скрестил вымытые, в голубых жилах, кисти рук и положил на них подбородок. Кто в целом мире знает, что он сидит здесь, в этом кресле среди наполняющегося зала, где никто не замечает его в толпе, когда даже дома не ответят, где он сейчас, и ничего не переменилось бы, если бы он ушел на улицу, все равно было бы так же светло илюдно, и дирижер за кулисами так же тер бы пальцами веки. Все здесь было закономерно, только он был здесь случайно. По усилившемуся перед началом гулу разговоров он заключил, что сейчас начнут.

Вот распахнулись створы бархатного занавеса сбоку сцены и, занятый своей скрипкой, из них появился прозябший полный человек в черном фракном костюме. Это появление вызвало за собой целую вереницу фраков и черных платьев, которая с двух сторон затопила сцену, и вскоре оно повлекло за собой энергичное передвижение стульев. Музыканты рассаживались точно так же, как занимают утром свои места за столами бухгалтеров и экономистов, и только нежная улыбка, скользкая в углах их губ, говорила, что они музыканты. Они рассаживались, долго не находя удобного положения, ставили поближе или отодвигали пюпитры. Флейтист что-то сказал артистке, та улыбнулась, первая скрипка попросил соседа поединиться, коснулся смычком струн, опустил смычок на свободно вытянутой руке и стал, откинувшись, глядеть в потолок, словно интересуюсь его лепкой, на самом деле — стремясь снять напряжение и сосредоточиться.

«Пусть еще будет пусто какое-то время, но потом начнется новая, невероятная жизнь». Почему-то Борис думал так почти уверенно, почти без опасений, почти торжествующе. Он не знал, как случится эта перемена в его жизни, но должна была она случиться легко и безмятежно. Он хорошо помнил тот момент в углу коридора павловского двorca с запахом паркета и свежелепейшей мебели, с которого началась его радость, на котором прекратились поиски в потемках одиночества, когда пришли бодрящие силы и уверенность в удаче. Ему было жаль себя в прошлом, но с прошлым теперь было покончено.

Дирижер уже кланялся, когда Оксенов поднял глаза. Он снова опустил их вниз, дожидаясь начала музыки. Наступила напряженная пауза, и она никак не могла прекратиться. Часть первая.

Так устало. Так печально. Так устало, так печально послышалось сначала почти неуловимое дыхание оркестра. Разрывается, вибрируя от сдержанной скорби, все шире и шире раздвигались эти вздохи, и каждая неровность этого дыхания говорила о глубоком убеждении в безнадежности борьбы и доказанной уже одиножды обреченности.

И сразу же, словно они стояли все время за спиной, вернулись к Борису дни напрасных ожиданий и сомнений. Это было так знакомо. Борис подумал, что он словно забыл что-то такое, что следовало помнить, что было сильнее его, чье существование он пытался опровергнуть. Да, это ему так дышалось недавно, тяжело и сосредоточенно, словно это он изнемогал, точно не знал, хватит ли сил для новой попытки.

Так поднимается над низким городским горизонтом белое декабрьское солнце, повисает круглым сияющим прямоугольником над деревьями и крышами, не в силах пробиться через мутную завесу. Так же начинался и день после новгородных праздников. Уже во сне, лишь смутно ощущая реальность подушки под виском, холодного никеля прутьев кровати, высокого потолка и пустоты под ним, доверху наполненной какими-то хлопьями, он чувствовал, что света за окном почти нет и, следовательно, утро откладывается на неопределенное, возможно долгое время. «Я проснулся на мрачном рассвете неизвестно какого дня», — усмехнулся в подушку Борис и стал слушать свое сердце. И хотя он знал, что время сна давно прошло, облако, нависшее над окном, было таким плотным и сумрачным, что он только прижимался лицом к подушке и с головокружением возвращался в забытые. Вечерний сумрак не сменялся ни ночью, ни рассветом в этот день.

Это был явно лишний день в календаре, и хотелось прожить его поскорее. Если бы знать заранее, сколько таких

скудных дней будет в твоём распоряжении, к ним, может быть, отнесёшься бы терпимее.

Ведь пост же в груди и в такие дни тонкая струнка радости, а если прислушаться к своему сердцу, каждый трепещущий миг, который мы живём, исполнен вдохновения и освобождения, которого мы склонны не замечать. Из этого стеснённого, радостного мгновения вырастает напев, исполненный беззаботности, грации и полёта.

Жизнь в такие дни преподносит нам неожиданные подарки — внезапную нежность к вчерашнему человеку, сознание трогательности бегущего по снежному полю щека, который вдруг заражает нас своей детской радостью вдыхать сырость, с запахом гаря, воздух, проваливаясь по шиколотку в мокрый, отвердевающий под ногой снег, слышать неожидан-ный гудок далекого автомобиля. Вдруг приходит светлое успокоение за рабочим столом, за книгой, в воротах домах. Все это подарки неоцененного дня.

С удовольствием можно распределить время до трех часов, когда надо поехать в Университет на консультацию, можно думать о том, кого хочется встретить сегодня и кому необходимо позвонить. И сама жизнь, такая медленная, почти неподвижная на взгляд, позволяющая припылкнуть к горестям и неудачам и сделать вид, что ты их не замечаешь, представляется в минуты такого успокоения легкой и почти неощутимой, и кажется, что она полностью находится в твоей власти. И только сбоку, в стороне темнеет неразрешенная мысль и непреодо-ленная неудача.

Но напев, зародившийся в этой свободе, обязан быть тихим и протяжным. И сила напора, возникающая в нем ежеминутно, пусть поостережется идти напролом. Иначе, восторженно захрипевши, набрав силу и громкость, она только вызовет далекий раскат грома, как в детстве самовольное бегство в лес неизбежно вызывает неожиданно близко громовые раскаты.

Так случилось и на этот раз. Разгулявшийся напев осекся на секунду, убавил пафоса и стал жить тише и размеренней.

Борис думал в эти минуты на свою обычную тему. Вернее, не думал, а чувствовал, чувствовал ее как несправедливость, несообразность законов жизни, которые для большинства других людей были просто очевидной реальностью. Он откашлялся, позволяя себе здоровый, сильный мужичина, получая от жизни множество удовольствия, имеет большие приватные счастье и более живет, чем пожилая девственница; если бы было так, то в мире нужно было исчислить громадное количество правд, причем все они были несовместимы друг с другом. Единственная возможность одного общего исчисления чело-

веческого счастья — признание того, что людям счастья, радости, вообще чувства должно быть отпущено поровну. Это было не утверждение факта, это была лишь отвлеченная мысль, подтверждение которой Борис хотел бы увидеть когда-нибудь в своей жизни. Попытками поисков сокровенной жизненной общности в том, как переживают каждое мгновение. Бытия разные люди, и были устремления и страхи Бориса. При этом они оставались его личными устремлениями.

Предвкушение истины освежило и просветило его душу, в эти минуты он особенно искренне отдавался своим раздумьям, оно посыдало ему чувство уверенности в будущем и готовность к преодолению препятствий, что приведет к неминуемому триумфу, который будет состоять в чем-то пока непонятном, но наполняющем благодарностью к Борису множество незнания, комья ему людей, быть может, даже тех, которые будут жить, когда его уже не будет на этом свете.

Борис поднял глаза от спины своего соседа, через слезно движущий смывками оркестр в черных фраках, скользнул взглядом по бело-желтым, полным блеска колоннам, прическам и плечам балкона к сверкающей глыбе прозрачной, тяжелой и невесомой люстры. Целая стена разноцветных отблесков, знойных и настойчивых, была приготовлена для глаз Бориса, и он даже раскаялся, что не смотрел на люстру раньше — столь тщательно приготовленное величественное ждало его там.

Наполненный движением и потаенной жизнью смывков, оркестр набрал силу и надорванный пафос страдания. Расчерченный на квадраты подъемов и спусков, мотив напрягался, сдвинулся, стремился вверх, и в его бескровной и ненасытной борьбе было свое упоение, и не оставалось ничего такого. В ней было все, но была и predeterminedность.

Музыка начинала стихать, когда позабытое, но ни на секунду не переставшее звучать в его душе, близкое, как начало жизни, неощутимое, как прикосновение теплого ветра, к нему вернулось чувство полного и благодатного существования, словно примешанного к каждому мигу, из которых состоит жизнь, засквозила в душу нежность, которая прозвучала возле него наравне с материнской, независимо и свободно, но с такой проникновенностью, что невозможно было на нее не ответить, не броситься ей навстречу. В этой любви была томительность воспоминания; уже единожды забытая, может быть, похороненная, о которой ты сам сказал: несостоявшаяся, она только крепла от твоей грусти, а сила искренности была верней пули, выпущенной в упор. Можно было бросить ее на произвол

судьбы, не шевельнуться ей вслед, но нельзя было не погнаться вместе с ней, если она погибнет.

Так в детстве он смотрел на широкое, темнеющее вдаль море, на которое нзматно ложилась вечерняя тень, потому что солнце уже скрылось за ребристым от волн горизонтом и, надо думать, стремительно продолжало свой путь вниз, на другую сторону земного шара: только на извилистых склонах гор оставалось золото и тепло его лучей. В зеленом просторе неба, уже фиолетовом по краям, светлой каплей висела вечерняя звезда, а полоса расходящихся веером на восток облаков стремительно утрачивала свои краски. Борис стоял, поставив ногу на сыпучую кучу щебня, у самой тропинки, почти на вершинке холма, откуда были видны вся бухта и поселок с железными крышами, телеграфными проводами, парком, казавшимся не зеленым, а глинисто-серым, с дорожкой, по которой поворачивал почтовый «Москвич».

Борис смотрел туда, где было всего темнее, — в дальний угол бухты, где за морем, как ему казалось, лежал Ленинград его детства. Борис внезапно вспомнил о нем, как о забытой части самого себя, и ему ужасно жалко стало того, что он не вспоминал его так долго. И словно что-то открылось ему за этой синей бухтой, там, за округлым темным горизонтом, что-то откликнулось и позвало его. Позвало с той трогательной силой, которая в тиски сжимает сердце и выдавливает из него, стесненного, болезненное и сладкое блаженство, о котором, даже вспоминая, говорят: «Я живу!»

И сразу же во всей низине под ним по немому и дружному стовору вспыхнули все бледно-желтые, наполовину нереальные электрические лампочки. Его гора, сыпучая тропинка, гряда камней сразу отодвинулись в тень небытия, прозябания, и Борису стало страшно оставлять здесь долгие, посвист летучей мыши, но будет и холод, и безлюдье.

И, наступая сандалиями на острые грани камней, спотыкаясь, чуть ли не падая, он бросился вниз, чувствуя, как со всех сторон и сверху темнеет. Он задышался, слезы лились у него из глаз, он захлебывался от слез одиночества и тоски. Кругом спокойно, но все более дружно и сумрачно темнело. Он был счастлив, когда добежал до первого электрического фонаря.

Разрастаясь, набирая громкость и сипловатую звонкость перенесенного страдания, эта простая, откровенная и чуть отдаленная, как воспоминание, любовная фраза достигала высшей

накала и патетики, но не в них была ее сущность. Она признавала была понимать и утешать, лечить раны и помогать уснуть, когда кажется, что уснуть невозможно. И вот она становится тише, все умиротвореннее. Сейчас она затихнет совсем...

Мгновенный, проникающий насквозь удар настигает спящего. То, что оставалось, все время оставалось в его душе, с чем невозможно было сжиться, как с совершенным преступлением, но что можно было отодвинуть во времени, постараться забыть как несуществующее, потому что еще не пришло его время, — все это стояло теперь, склонившись, у его изголовья. В бешеном, почти бредовом темпе, который навязывала ему страшная, но несомненная реальность, он кинулся сначала в один угол, потом в другой. Но в этом метании не было здравого смысла — ему нечего было прятать, он просто хотел уйти, повернуться спиной и уйти, повернуться спиной и уйти от того места, где в эти мгновения готовилась расправа над его жизнью, надеждами, будущим, всем, что звучало в его груди и хотело жить, не переставая. Все попытки распрямиться и доказать свое бескорыстие и чистоту намерений предавались казни в самом зачатке с быстрой скачущей лошади и в ритме какого-то дьявольского танца. Беда обнаруживала поразительную жизнеспособность и хищную расторопность реального существа. Это был не просто голос рока, это было оглашение приговора, из которого следовало, что жизнь была дана вам по ошибке и подлежит насильственному изъятию. Это была живая черная стена, которая обволакивала так плотно, что не оставляла и тоненькой щелочки для света и надежды. У жизни и радости не было оружия против этой силы.

Никогда еще скорбь не царил так откровенно над людьми в этом зале, внешне так мало подходящими для отчаянья и беспомощности, но хранящими в своих душах тонкие и большие струны бессилия и страха, побеждая их наедине с собой и стараясь изгладить их из своей груди, словно их и не было. Но силы, парящие и направляющие черные крылья над оркестром, имели свои права над каждым, кому они казались простыми звуками и музыкой.

Наклоняя голову вслед ее широким разворотам, Борис тревожно прислушивался, спрашивая себя, что означает эта сила и что он упустил и не учел в своем превращении радостной и прочной жизни. Память об Асе Узнаевой, ее открытой шее, воротнике ее платья вызывала у него радость, которая была сродни мечтам и оживаниям этой настоящей жизни, но мысли эти были далеки от той томительной, щемящей и родной музыки, которая звучала любовью у этого оркестра. И в то же

время в ней вдруг проглядывала с достоверностью документа его настоящая, замирающая на секунду жизнь.

Уже примиренная, любовь словно стала забываться в своих безнадежных порывах, способных убедить и растрогать каждого, кроме своего врага, тихо затаившегося, опирающегося на мрачную победу. Он еще вернется, и следующий его приход будет последним. Слова легче звучать стало отчужденным инструментам, и в пробудившейся напевности стал отчетлив легкий ритм шагов. Легко, даже пританцовывая от безнадёжности, от внутренних опустошений, понесенных только что, он ушел и оставил нас одних.

Часть вторая.

Как робко пускалась она танцевать!

Со смятением в сердце оторвавшись от толпы, чинно стоящей у стен и подоконников, от двух рядов знакомых лиц, она сделала первые шаги, и волнение поднялось от ног к груди, забилось в висках, заставило смотреть вокруг новыми, блестящими и отчаянными глазами. Уже не чувствуя тела, она с робкой грацией совершала первые движения, легкость и напряженная уверенность подхватывали ее и несли вперед, в центр зала. Какая незащищенность и очарование сквозили в каждом ее жесте! Еще шаг, и она не опустится уже на красивый мастичный пол, со взмахом руки перестанет существовать во плоти и превратится в сознании Бориса в трепещущую на весеннем ветру занавеску у распахнутого окна, такую же легкую и не умеющую взлететь, или в весенний росток на засыпанном бурями прошлогодними сосновыми иглами оттаявшем склоне в апреле, росток, который обречен подвергнуться заморозкам, стать вялым и почерпелым.

И уже казалось, что девочка, танцующая на середине зала, вот-вот расплачется, потому что ее стережет страх того, что она оступится и подвернет ногу. Не будет добра из этого вдохновенного и тонкого танца, и это стало понятно задолго до того, как пришло время начинать.

Слушая, Борис, как ему казалось, прощался со своей недавней безысходностью, вкушал ее еще раз, позабыв свое настроение обновленной радости, и теперь следил, куда приводит его музыка, птицей поднимающаяся в высоту.

Быть может, это не был полет, хотя в музыке трепетало что-то, напоминающее стремление удержаться в воздухе, тополиные взмахи крыльев, страх перед колеблющейся внизу землей в круглых зеленых деревьях и кустарниках. Ни один из сидящих в зале не был чужд этим попыткам с замирающим сердцем взбираться в предвечернее небо и потом, рассекая воздух, со звонким криком бросаться вниз и наискосок к реке,

мимо крыши дома среди зарослей сирени, мимо пристройки, вниз, почти до самой земли.

А танец, растворившийся в воспоминании, опять жил и совершал свои плавные повороты и превращения. Отведя голову назад, чтобы лучше сохранить координацию в головокружительных вращениях, смело и широко взмахивала ногами, секунду семена носками туфелек, взмах за взмахом воссоздавая свободный полет прямо тут на полу, справа от окна, где невозможно дать свободу крыльям.

Но усталость и дурные предчувствия настигают танцующую, словно ее танец так и не сможет закончиться. Уже не так легко вращается ее тело, уже болят и подгибаются ноги, да и музыка звучит иная, налившаяся свинцом и усталостью. Она напоминает о чем-то давно забытом ради этого танца, ради этого вечернего солнца за окном, но не переставшем от этого служить предостережением о неравенстве сил в борьбе, которая ведется не один год и исход которой, кажется, предрешен.

Пальцы музыкантов упали.

Танец кончился.

Часть третья.

Движение зародилось раньше утра, вольно взяв разгон, оно торопливо и звало того, чья судьба решалась сегодня. На секунду могло показаться, что царит атмосфера беззаботности, только бегали наподобие челноков смычки и пальцы. Но если вдуматься, за всем этим дальше звучания оркестра стояла и кровоточила материально ошутимая тема, и с ней уже все было покончено. Но решимость от этого не ослабевала и приготовления продолжались. Вооружение было выбрано: легкиелаты, уже надета была кольчуга, вот только коня не хватало. Да его и не надо было, на ногах стоишь крепче, а кроме того, вообще вы ведь знаете, чем кончится поединок.

Между тем побудительная мелодия уверенно перешла в марш, который создавал шум в ушах и удачно вызывал ощущение действия, энергичного действия, почти что суеты и готовности.

Так он и пустился в путь: с развевающимся шарфом за спиной, приплясывающей походкой, не глядя на небо, откуда грозила ему истинная опасность.

И легкое, šťastливое и обреченное воспоминание не покидало его в этом движении. Слабо улыбаясь самому себе, томительно зашемив себе сердце, он слабо перебирал пальцами, отрешенно припоминая то, что должно было стать его настоя-

щей жизнью. То, чего он ждал с самого детства, в чем ни на секунду не сомневался.

И, тихо себе это напевая, он делал следующие шаги. Потом опять вернулось ощущение родины, его подхватила спасательная волна любви, понесла, как ветер занавеску на окне в маре, и, как ветер занавеску, не унесла прочь, а только заставила слабо трепетать, парить, колыхаться.

Но приплясывающие трубы между тем крепили. И уже не его это походка, не его марш, не его музыка. Зловещее удолствование засипело в их металле, озлобление и предчувствие его неминуемой гибели.

И верно, он так и знал, потому и шел легко и пританцовывая. Только любви уже больше с ним нет. Скорее предчувствия.

И вот уже в этом марше звучат не одни шаги — звучат нога в ногу шаги погубителя и его жертвы, они дружно, торопливо и напряженно маршируют.

Увлекающий вперед и вперед марш привел нашего героя в ту самую долину, где ему суждено было погибнуть. Завихрившаяся ободрительная музыка принесла на своем хвосте страшную птицу-ящера, который одним прикосновением сломал его копыте и сразил его в самое сердце. Плавно взмахнув крыльями, дракон взмыл в воздух и скрылся за горой.

Еще оставалось умирать три-четыре минуты.

И он забылся в задумчивости.

Музыканты остановили свои равнодушные инструменты. Надо вытереть ладонь батиловым платочком. Кое-что осталось еще сказать.

Часть четвертая.

Опять, как в начале, тяжело и глухо задыхал оркестр. Выступило вперед и зазвучало жалобное воспоминание, сожаление о том, что было и чего не вернешь. Высоко и торжественно оркестр жаловался на то, что все утрачено, и все, что осталось, — это доказать, что ты действительно был, и как хочешь это доказать: я был, смотрите и слушайте, попробуйте, если хотите, меня опровергнуть.

Сильная, красивая, женственная душа прощалась с жизнью. Она отдавала крупицу за крупицей свое тепло, свою нежность и любовь. С той жизнью, которая была уже не ее, но просто когда-то была ее, но, о, как хочется доказать, что она была когда-то ее.

Глубоким неудержимым вздохом вырвалось сожаление о том, что уже совершилось, задумо и засквозило ветром надежных и нераскайных сожалений. Этим ветром подхватило записку и понесло вокруг комнаты, и охватившая плечи

Тревога

Цикл монологов

Посвящается жертвам фашизма

Воют в ночи бездонной
Волки на стадионе.
Вот почему порою,
Только глаза закрою, —
Прошлое с волчьей мордой
Мне не дает покоя.
Строить не надо толки:
ГЕНЫ ФАШИЗМА СТОЙКИ!
Есть у волков истоки,
Это все те же волки!
Немы надгробий плиты,
Но человек услышит
И голоса убитых,
И голоса убивших.

МОНОЛОГ ДЕВУШКИ В ЛАГЕРЕ СМЕРТИ БИРКЕНАУ

Бутафорский вокзал в Биркенау,
Нарисовано все по лекалу —
Баня... Касса... Дежурный буфет...
Только жизни в ногах моих нет!
Предлагают раздеться, помыться...
Верю вывеске. Хочется выть...
Но в пресыщенном взгляде убийцы:
— Вам налево! — А значит, не жить!
Вам **НАЛЕВО! НАЛЕВО! НАЛЕВО!**
Слово длится в молекулах «я»!
Но толпа — это голая дева
В крематорий ползет, как змея.
Тает Родина, кто я, не знаю, —
Я безвременна, я замолчу.
Бутафорский вокзал в Биркенау,
Я уехать обратно хочу!..

смерть заставила запахнуть плед и содрогнуться от холода. Только на минуту вернулось уверенное чувство крыльев, полета, земли под ними в деревьях и кустарниках. Однако наступило уже время погребальных приготовлений, загудел и солидно стал шевелиться в углу тот, кому было это поручено, посылки поднимали и понесли.

И вот уже оттуда, не принадлежа этой жизни и еще не вступив в другую, его душа продолжала рассказывать о том, как прекрасна, как божественно прекрасна она была при жизни. Это были вздохи любви, но уже иной.

Горюя, она становилась все более рассеянна и молчалива. И вот не слова уже, а вздохн. Бу. Бу. Бу.

Оркестр умер, чтобы через минуту опять воскреснуть и принимать бешеные, хотя и несколько растерянные аплодисменты.

Высоко подняв голову, Оксемов промчался в гардероб. Он смотрел на окружающих немного свысока, так как был уверен, что все слышанное относилось именно к нему, и предстояло теперь выяснить отношения с музыкой дома. Борне решительно направился к желтым тяжелым дверям, которые оказались достаточно благосклонными, чтобы выпустить его на белую зернистую кружку, по которой разъезжали блестящие автомобили, и в их движении ощущалось и терпение, и скрывающаяся угроза.

Оксемов пересек площадь, подумал, повернул к своей привычной многолюдной улице и быстро зашагал по ней не оглядываясь.